

Редьярд Киплинг

# Без благословения церкви



Редьярд Джозеф Киплинг  
**Без благословения церкви**

«Public Domain»

1890

## **Киплинг Р.**

Без благословения церкви / Р. Киплинг — «Public Domain», 1890

«...Контракт был подписан легкомысленно; но ещё раньше, чем девушка достигла полного расцвета, она наполнила собой большую часть жизни Джона Хольдена. Для неё и для старой ведьмы – её матери – он снял маленький дом, из которого открывался вид на обнесённый красными стенами город. Когда ноготки зацвели у фонтана во дворе, когда Амира устроилась сообразно своим понятиям о комфорте, а её мать перестала ворчать на неудобства кухни, на дальность расстояния от рынка и вообще на разные домашние дела – он сделал открытие, что этот дом стал для него родным. Каждый мог и днём, и ночью войти в его бунгало холостяка, и жизнь, которую он вёл там, имела мало прелести...»

# Содержание

## Редьярд Джозеф Киплинг Без благословения церкви

### I

– А если будет девочка?

– Господь милосерден, этого не может быть! Я так много молилась по ночам и так часто посылала дары на алтарь шейха Бадля, что знаю – Бог даст нам сына, ребёнка мужского пола, который станет мужчиной. Думай об этом и радуйся. Моя мать будет его матерью до тех пор, пока ко мне не вернутся силы; а мулла патанской мечети составит его гороскоп – дай Бог, чтобы он родился в счастливый час! – и тогда, тогда тебе никогда не надоест твоя раба!

– С каких пор ты стала рабой, моя царица?

– С самого начала – пока милость не снизошла на меня. Как могла я быть уверенной в твоей любви, зная, что куплена за деньги?

– Это был обычный выкуп. Я заплатил его твоей матери.

– А она спрятала его и сидит на нем целыми днями, словно наседка. Что разговаривать о выкупе! Я была куплена, словно танцовщица из Лукнова, а не ребёнок.

– И ты жалеешь об этом?

– Жалела; но сегодня я рада. Теперь ты никогда не перестанешь любить меня? Отвечай, царь мой.

– Никогда... Никогда!

– Даже если мем-лог – белые женщины твоей крови – полюбят тебя? И помни, я видела их, когда они катаются по вечерам; они очень красивы.

– Я видел воздушные шары, сотни воздушных шаров. Я увидел луну и – потом не видел более воздушных шаров.

Амира захлопала в ладоши и рассмеялась.

– Очень хорошие слова, – сказала она. Потом, приняв величественный вид, прибавила: – Довольно. Разрешаю тебе уйти – если желаешь.

Он не двинулся с места. Она сидела на низкой красной лакированной кушетке в комнате, все убранство которой состояло из синей с белым клеёнки на полу, нескольких ковров и целого собрания туземных подушек. У его ног сидела шестнадцатилетняя женщина, заключавшая в себе – в его глазах – весь мир. По всем законам и правилам этого не должно было бы быть, так как он был англичанин, а она – дочь мусульманина, купленная два года тому назад у её матери, которая, оставшись после мужа без денег, продала бы рыдавшую Амиру хоть самому черту, дай он подходящую цену.

Контракт был подписан легкомысленно; но ещё раньше, чем девушка достигла полного расцвета, она наполнила собой большую часть жизни Джона Хольдена. Для неё и для старой ведьмы – её матери – он снял маленький дом, из которого открывался вид на обнесённый красными стенами город. Когда ноготки зацвели у фонтана во дворе, когда Амира устроилась сообразно своим понятиям о комфорте, а её мать перестала ворчать на неудобства кухни, на дальность расстояния от рынка и вообще на разные домашние дела – он сделал открытие, что этот дом стал для него родным. Каждый мог и днём, и ночью войти в его бунгало холостяка, и жизнь, которую он вёл там, имела мало прелести. В городском же доме только он один мог войти с наружного двора в комнаты женщин; когда большие деревянные ворота захлопывались за ним, он становился царём на своей территории, а Амира – царицей. И в этом царстве должно было прибавиться третье существо, появлением которого Хольден не был доволен. Оно мешало полноте его счастья. Оно нарушало мирный покой и порядок его дома... Но Амира и её мать

были вне себя от восторга при мысли о ребёнке. Любовь мужчины, особенно белого, вообще неустойчива, но его можно – так рассуждали обе женщины – удержать детскими ручками.

– И тогда, – постоянно говорила Амира, – он не будет больше думать о мем-лог. Я ненавижу всех их, я ненавижу всех их!

– Со временем он вернётся к своему народу, – говорила мать, – но, благодарение Богу, время это ещё далеко.

Хольден сидел на кушетке, размышляя о будущем, и мысли его не были приятны. В жизни вдвоём есть много неудобств. Правительство, по странной заботливости, отсылало его на две недели из места его стоянки по специальному делу вместо другого служащего, который находился у ложа больной жены. Устное сообщение о замене сопровождалось шутливым замечанием, что Хольден должен считать счастьем, что он холостяк и свободный человек. Он пришёл сообщить Амире эту новость.

– Это не хорошо, – медленно проговорила она, – но и не совсем дурно. Моя мать здесь, и со мной не может случиться ничего дурного, если я только не умру от радости. Отправляйся по своему делу и не предавайся тревожным мыслям. Когда пройдут эти дни, я думаю... нет, уверена!.. И... и тогда я положу его тебе на руки, и ты будешь вечно любить меня. Поезд уходит сегодня ночью, не так ли? Ступай и не отягчай своего сердца из-за меня. Но ты не замедлишь вернуться? Ты не остановишься по дороге, чтобы поговорить со смелыми мем-лог? Возвращайся ко мне скорее, жизнь моя!

Проходя через двор, чтобы сесть на привязанную у ворот лошадь, Хольден заговорил с седым старым сторожем. Он приказал ему в случае необходимости послать телеграмму и оставил заполненный телеграфный бланк. Сделав все, что можно было сделать, с чувством человека, присутствовавшего на своих собственных похоронах, Хольден ночным поездом отправился в изгнание. Днём он ежечасно боялся, что получит телеграмму, а по ночам постоянно представлял себе смерть Амиры. Вследствие этого свои служебные обязанности он выполнял отнюдь не безупречно, а его отношение к товарищам было не особенно любезным. Две недели прошли без известий из дома, и Хольден, раздираемый тревогой, вернулся, чтобы потерять два драгоценных часа на обед в клубе, где он слышал, как слышит человек в обморочном состоянии, чьи-то голоса, говорившие ему, как отвратительно исполнял он свои временные обязанности, что о нем говорят все, кто имел с ним дело. Потом он летел верхом всю ночь с тревогой в сердце. На первые его удары в ворота ответа не было, и он повернул было лошадь, чтобы ворваться в них, как появился Пир Хан и придержал ему стремя.

– Случилось что-нибудь? – спросил Хольден.

– Новости не должны исходить из моих уст, покровитель бедных, но... – Он протянул дрожащую руку, как приличествовало человеку, приносящему хорошую вест, за которую он должен получить награду. Хольден поспешно прошёл через двор. В верхней комнате горел огонь. Лошадь его заржала у ворот, и он услышал пронзительный, жалобный крик, от которого точно комок подкатил к его горлу. Это был новый голос, но он не служил доказательством, что Амира жива.

– Кто там? – крикнул он снизу узкой кирпичной лестницы.

Послышалось восторженное восклицание Амиры и потом голос матери, дрожавший от старости и гордости:

– Мы, две женщины, и мужчина – твой сын.

На пороге комнаты Хольден наступил на вынутый из ножен кинжал, положенный для того, чтобы отогнать несчастье. Рукоятка кинжала сломалась под его нетерпеливым каблуком.

– Бог велик! – в полутьме проворковала Амира. – Ты взял его несчастье на свою голову.

– Да, ну а как ты, жизнь моей жизни? Старуха, как она?

– Она забыла о своих страданиях от радости, что родился ребёнок. Дурного ничего нет; но говори тихо, – сказала мать.

– Нужно было только твоё присутствие, чтобы мне стало совсем хорошо, – сказала Амира. – Царь мой, ты очень долго не был здесь. Какие подарки привёз ты мне? А-а! На этот раз я приношу подарки. Взгляни, жизнь моя, взгляни! Был ли когда-нибудь на свете такой ребёнок? Я слишком слаба даже для того, чтобы взять его на руки.

– Лежи спокойно и не разговаривай. Я здесь, бечари.<sup>1</sup>

– Хорошо сказано; теперь между нами есть связь, которую ничто не может нарушить. Посмотри – можешь ты видеть при этом свете? Он без малейшего пятнышка, без малейшего недостатка. Никогда не было такого ребёнка мужского пола. Ийе иллех! Он будет учёный человек, пандит, – нет, солдатом королевы. А ты, моя жизнь, по-прежнему любишь меня, хотя я слаба, худа и больна? Отвечай правду.

– Да. Я люблю, как любил – всей душой. Лежи тихо, жемчужина моя, и отдыхай.

– Тогда не уходи. Сиди вот здесь, рядом со мной, вот так. Мать, господину этого дома нужна подушка. Принеси её. – Со стороны нового существа, явившегося в жизнь, которое лежало на руках у Амиры, почувствовалось еле заметное движение. – Аго! – сказала она прерывающимся от любви голосом. – Мальчик – боец с самого рождения. Он ударяет меня в бок могучими ударами. Ну, был ли когда-нибудь такой ребёнок! И он наш – твой и мой. Положи руку на его голову, но осторожно, потому что он очень мал, а мужчины неловки в таких делах.

Очень осторожно, кончиками пальцев, дотронулся Хольден до покрытой пухом головки.

– Он нашей веры, – сказала Амира, – лёжа здесь в ночные бодрствования, я шептала ему на ухо призыв к молитве и исповедание веры. И самое удивительное, что он родился в пятницу, как я. Будь осторожнее с ним, жизнь моя; однако он уже может хвататься ручками.

Хольден держал беспомощную ручку, которая слабо ухватила за его палец. И от этого прикосновения что-то пробежало по его телу и остановилось в сердце. До тех пор все мысли Хольдена принадлежали Амуре. Теперь он начал понимать, что на свете есть ещё кто-то, но не мог представить себе, что это действительно его сын, одарённый душой. Он сел и задумался Амира слегка дремала.

– Уходи, сахиб, – сказала шёпотом её мать. – Не хорошо, если она увидит тебя, когда проснётся. Ей нужен покой.

– Я уйду, – покорно сказал Хольден. – Вот рупии. Присматривай за моим баба, чтобы он стал толстым и чтобы у него было все необходимое.

Звяканье серебра разбудило Амиру.

– Я – его мать, а не наемщица, – слабо проговорила она. – Неужели я буду больше или меньше присматривать за ним из-за денег! Мать, отдай их назад. Я дала моему господину сына.

Глубокий сон – следствие слабости – овладел ею, едва она успела окончить фразу. Хольден тихонько спустился во двор с облегчённым сердцем. Пир Хан, старый сторож, смеялся от восторга.

– Теперь дом полон, – сказал он и без дальнейших объяснений сунул в руки Хольдена эфес сабли, которую он, Пир Хан, носил давным-давно, когда служил в королевской полиции. Со стороны фонтана доносилось бляение привязанной козы.

– Там их две, – сказал Пир Хан, – две из самых лучших коз. Я купил их, и они стоили много денег; так как нет гостей, то их мясо будет все принадлежать мне. Ударь сильнее, сахиб! Это плохо уравновешенная сабля. Погоди, пока они подымут головы и перестанут щипать ногти.

– Зачем все это? – спросил удивлённый Хольден.

– Это жертва по случаю рождения. Как к чему? Иначе ребёнок, не хранимый судьбой, может умереть. Покровитель бедных знает слова, которые надо произнести.

---

<sup>1</sup> Бечари – маленькая женщина.

Хольден выучил их однажды, не думая, что когда-нибудь станет произносить серьёзно. Прикосновение холодного эфеса сабли к его руке внезапно изменилось в ласковое пожатие ручки дитяти наверху – ребёнка, который был его сыном, – и боязнь потери охватила его сердце.

– Бей! – сказал Пир Хан. – Никогда на свете не появится новая жизнь без того, чтобы не быть оплаченной другой. Взгляни, козы подняли головы. Теперь ударяй!

Почти бессознательно Хольден ударил дважды, бормоча следующую магометанскую молитву:

– Всемогущий. Вместо этого моего сына я возношу Тебе жизнь за жизнь, кровь за кровь, голову за голову, кость за кость, волосы за волосы, кожу за кожу!

Стоявшая в отдалении лошадь зафыркала и дёрнулась на привязи, почуяв запах свежей крови, обрызгавшей сапоги Хольдена.

– Хороший удар! – сказал Пир Хан, вытирая саблю. – В тебе потерян хороший воин. Иди с облегчённым сердцем, небесно-рождённый. Я твой слуга и слуга твоего сына. Да живёт господин тысячу лет, а... все мясо коз принадлежит мне?

Пир Хан ушёл, разбогатев на месячное жалованье. Хольден вскочил в седло и помчался сквозь вечерний туман, спустившийся на землю. Он был полон буйного возбуждения, сменявшегося неясным чувством нежности, не относившейся ни к какому определённом предмету. Он задыхался от нежности, склоняясь к шее своей беспокойной лошади. «Я никогда в жизни не чувствовал ничего подобного, – думал он. – Поеду в клуб и возьму себя в руки».

Начиналась партия на бильярде; комната была полна людей. Хольден вошёл, радуясь свету и обществу, громко распевая: «Гуляя в Балтиморе, я встретил даму».

– В самом деле? – спросил секретарь клуба из своего угла. – А не сказала она вам, что у вас сапоги совершенно мокры? Господи, Боже мой, это кровь!

– Чепуха! – сказал Хольден, беря свой кий. – Можно мне присоединиться? Это роса. Я ехал по полю. Однако! Хороши, действительно, мои сапоги!

Будет у нас девочка – мы её обручим,  
А мальчика служить во флот мы отдадим,  
И будет он, в курточке синей, при кортике остром,  
По шканцам отважно ходить.

– Жёлтый, голубой; следующим играет зелёный, – монотонно объявил маркёр.

– «По шканцам отважно ходить...» Я зелёный, маркёр? «Как хаживал папа когда-то...» Эге! плохой удар.

– Не вижу, с чего вам радоваться, – резко проговорил ревностный молодой чиновник. – Правительство не особенно довольно вашей работой за то время, что вы заменяли Сандерса.

– Это что же? Выговор из главной квартиры? – сказал Хольден с рассеянной улыбкой. – Я думаю, что в состоянии вынести это.

Разговор вертелся вокруг всегда нового предмета – работы каждого из присутствующих, – и Хольден успокоился, пока не настало время отправиться в тёмное, пустое бунгало, где дворецкий встретил его, как человек, знающий все дела своего господина. Хольден не спал большую часть ночи, но сны его были приятны.

## II

– Сколько ему теперь времени?

– Ийа иллах!.. Вот вопрос мужчины! Ему только шесть недель. Сегодня ночью я выйду с тобой на крышу дома, моя жизнь, считать звезды. Потому что это приносит счастье. А родился



он в пятницу, под знаком Солнца, и мне сказали, что он переживёт нас обоих и будет счастлив. Можем ли мы желать чего-либо лучшего, возлюбленный?

– Нет ничего лучшего. Пойдём на крышу, и ты будешь считать звезды – только немного насчитаешь их, потому что небо покрыто тучами.

– Зимой дожди бывают позднее, но случаются и не в срок. Пойдём раньше, чем скроются все звезды. Я надела мои лучшие уборы.

– Ты забыла лучший из них.

– Ах, да!.. Наш убор!.. Он также пойдёт. Он ещё не видал небес.

Амира взобралась по узкой лестнице, которая вела на плоскую крышу. Ребёнок спокойно, не мигая, лежал у неё на правой руке, разряженный в кисею с серебряной бахромой, с маленькой шапочкой на голове. Амира надела все, что у неё было самого ценного. Бриллиант в носу заменял нашу европейскую мушку, обращая внимание на изгиб ноздрей; золотое украшение с изумрудными подвесками и рубинами с трещинами красовалось на лбу; тяжёлое ожерелье из чистого чеканного золота нежно охватывало её шею, а звенящие серебряные браслеты на ногах спускались на розовую лодыжку. Она была одета в зеленую кисею, как надлежало дочери правоверного; от плеча к локтю и от локтя к кисти руки спускались серебряные цепочки из колечек, нанизанных на розовые шелковинки; хрупкие хрустальные браслеты спадали с запястья, подчёркивая тонкость руки; тяжёлые золотые браслеты с искусными застёжками, не принадлежавшие к местным украшениям, были даром Хольдена, а потому приводили Амиру в полный восторг.

Они уселись на белом низком парапете крыши, откуда был виден город с его огнями.

– Они счастливы там, – сказала Амира. – Но не думаю, чтобы были так счастливы, как мы. Не думаю, чтобы и мем-лог бывали так счастливы. А ты как думаешь?

– Я знаю, что они не так счастливы.

– Откуда ты это знаешь?

– Они отдают своих детей кормилицам.

– Я никогда не видала этого, – со вздохом проговорила Амира, – и не желаю видеть. Аи! – она опустила голову на плечо Хольдена, – я насчитала сорок звёзд и устала. Взгляни на ребёнка, любовь моей жизни, он также считает.

Ребёнок круглыми глазами пристально смотрел на тьму небес. Амира положила его на руки Хольдена; он лежал совсем тихо, спокойно, не плакал.

– Как будем мы звать его между собой? – сказала она. – Взгляни! Надоедает тебе когда-нибудь смотреть на него? У него совершенно твои глаза. Но рот...

– Твой, моя дорогая. Кому это знать, как не мне.

– Это такой слабый рот. И такой маленький. А между тем он держит моё сердце своими губами. Дай его мне. Он слишком долго не был у меня.

– Нет, дай ему полежать у меня; он ещё не заплакал.

– Когда он заплачет, ты отдашь его – да? Ты настоящий мужчина! Если бы он заплакал, то стал бы ещё дороже мне. Но, жизнь моя, какое же мы дадим ему имя?

Маленькое тельце лежало у сердца Хольдена. Оно было вполне беспомощно и очень мягко. Он едва дышал из боязни раздавить его. Зелёный попугай в клетке, на которого в большинстве туземных семей смотрят как на духа-охранителя, задвигался на своём месте и сонно шевельнул крылом.

– Вот ответ, – сказал Хольден. – Миан Митту произнёс его. Он будет попугаем. Когда он вырастет, он будет много говорить и бегать. Миан Митту значит ведь попугай на твоём – на мусульманском языке, не так ли?

– Зачем так отделять меня, – раздражительно проговорила Амира. – Пусть это будет что-нибудь похожее на английское имя, но не совсем. Потому что он и мой.

– Ну, так зови его Тота; это более всего похоже на английское имя.

– Да, Тота, но это все же попугай. Прости меня, господин мой, за то, что было минуту тому назад, но, право, он слишком мал, чтобы нести всю тяжесть имени Миан Митту. Он будет Тота – наш Тота. – Она дотронулась до щеки ребёнка; он проснулся и запищал; пришлось Хольдену отдать его матери, которая успокоила его удивительной песенкой:

Аре коко! Джаре коко!  
Мой бэби крепко спит,  
А в джунглях спеют сливы по пенни целый фунт,  
Лишь пенни целый фунт, баба, по пенни целый фунт...

Успокоенный многократным упоминанием о цене слив, Тота прижался к матери и заснул. Два гладких белых бычка во дворе усердно жевали свой ужин. Пир Хан сидел на корточках перед лошадьё Хольдена, положив на колени свою полицейскую саблю, и с сонным видом двигал рукоять водяного насоса. Мать Амиры сидела за пряхкой на нижней веранде; деревянные ворота были закрыты засовами. Звуки музыки проходившей мимо свадебной процессии доносились до крыши, господствуя над тихим журчанием города; набегавшие облака по временам закрывали лик луны.

– Я молилась, – после долгого молчания проговорила Амира, – я молилась, во-первых, чтобы я могла умереть вместо тебя, если потребуется твоя смерть; а во-вторых, чтобы я могла умереть вместо нашего ребёнка. Я молилась Пророку и Биби Мириам.<sup>2</sup> Как ты думаешь, услышит кто-нибудь из них мою молитву?

– Из твоих уст кто бы не услышал самого пустого слова?..

– Я просила прямого ответа, а ты дал мне сладкие слова. Будут услышаны мои молитвы?

– Как я могу сказать? Бог очень добр.

– Я не уверена в этом. Выслушай меня. Когда умру я, или ребёнок, какова будет твоя судьба? Ты вернёшься к смелым мем-лог, потому что голос крови силён.

– Не всегда.

– У женщин – да; мужчины – дело другое. Позже, в этой жизни, ты вернёшься к своему народу. Это я, пожалуй, могла бы вынести, потому что буду мертва. Но даже после смерти ты будешь взят в чужое место и в незнакомый для меня рай.

– Будет ли это рай?

– Наверное! Кто же может обидеть тебя? Но мы – я и ребёнок – будем в другом месте и не сможем прийти к тебе, как и ты к нам. В прежнее время, когда ребёнок ещё не родился, я не думала об этом, а теперь постоянно думаю. Это очень тяжело говорить.

– Будь что будет. Завтрашнего дня мы не знаем; но хорошо знаем сегодняшний и нашу любовь! Ведь мы же счастливы теперь.

– Так счастливы, что хорошо бы сохранить это счастье. Твоя Биби Мириам должна бы слышать меня; ведь она тоже женщина. Но, впрочем, она будет завидовать мне! Неприлично мужчинам поклоняться женщине.

Хольден громко рассмеялся при этой ревнивой выходке Амиры.

– Неприлично? Так отчего же ты не отучишь меня от поклонения тебе?

– Ты поклоняешься?! И мне? Царь мой, несмотря на все твои сладкие слова, я отлично знаю, что я твоя слуга и рабыня, прах под твоими ногами. Да я и не хотела бы, чтобы было иначе. Смотри. – Прежде чем Хольден успел удержать её, она наклонилась и дотронулась до его ног; потом она поднялась с лёгким смехом, крепче прижала Тота к груди и проговорила почти яростно: – Правда ли, что смелые мем-лог живут втрое дольше, чем мы? Правда ли, что они заключают браки только тогда, когда становятся старухами?

---

<sup>2</sup> **Биби Мириам** – Дева Мария, которая в мусульманской традиции почитается как мать пророка Исы, т. е. Иисуса Христа.

– Они выходят замуж, как и другие женщины.

– Я знаю это, но они выходят замуж, когда им исполняется двадцать пять лет. Правда ли это?

– Правда.

– Ийа иллах! В двадцать пять! Кто женится, по своей воле, даже на восемнадцатилетней? Ведь это женщина, стареющая с каждым часом. Двадцать пять! В эти годы я буду старухой. И... Эти мем-лог остаются вечно молодыми!.. Как я ненавижу их!

– Какое отношение имеют они к нам?

– Я не могу сказать. Знаю только, что на земле теперь, может быть, живёт женщина на десять лет старше меня, которая может прийти и взять твою любовь через десять лет, когда я буду старуха, седая, нянька сына Тота. Это несправедливо и нехорошо. Они должны также умирать.

– Ну, несмотря на свою старость, ты все же ребёнок, которого следует поднять и снести вниз по лестнице.

– Тота! Подумай о Тота, господин мой! Ты не умнее любого ребёнка!

Хольден подхватил Амиру на руки и понёс её, смеющуюся, вниз по лестнице; а Тота, которого мать подняла предусмотрительно повыше, открыл глаза и улыбнулся, как улыбаются ангелы.

Он был тихий ребёнок. Раньше, чем Хольден ясно осознал, что он существует на свете, мальчик превратился в маленького золотистого божка и неоспоримого деспота в доме. То были месяцы полного счастья для Хольдена и Амиры – счастья, удалённого от света, скрытого за деревянными воротами, у которых сторожил Пир Хан. По утрам Хольден исполнял свою работу с громадным сожалением к тем, кто не был так счастлив, как он: его симпатии к маленьким детям удивляли и забавляли многих матерей, присутствовавших на местных собраниях. При наступлении вечера он возвращался к Амуре, Амуре, полной удивительных рассказов о том, что делал Тота: как он складывал ручки и двигал пальцами, вероятно, с обдуманном намерением, что было очевидным чудом; как потом он, по собственной инициативе, выполз из своей низкой кровати на пол и, шатаясь, прошёл обеими ножками три шага.

– А сердце у меня на минуту перестало биться от восторга, – говорила Амира.

Потом Тота привлёк животных к участию в своих занятиях – телят, маленькую серую белку и, в особенности, Миан Митту, попугая, которого больно тянул за хвост. Миан Митту кричал, пока не подходили Амира или Хольден.

– О негодник! Дитя насилия! Так-то ты обращаешься со своим братом на крыше! Тобах, тобах! Фуй, фуй. Но я знаю чары, чтобы сделать тебя таким же мудрым, как Сулейман и Афлатун.<sup>3</sup> Смотри, – сказала Амира. Она вынула из вышитого мешка пригоршню миндаля. – Смотри! Считаем до семи! Во имя Божие!..

Она посадила Миан Митту, очень рассерженного и нахохлившегося, на клетку и, усевшись между ребёнком и птицей, разгрызла и очистила миндалину менее белую, чем её зубы.

– Это истинные чары, жизнь моя; не смейся. Смотри: я даю одну половину попугаю, а другую Тота. – Миан Митту осторожно взял клювом свою часть с губ Амиры; другую она, с поцелуями, вложила в рот ребёнку, который медленно съел миндалину, смотря изумлёнными глазами. – Так я буду делать в продолжение семи дней, и, без сомнения, он будет смелым, красноречивым и мудрым. Эй, Тота, кем ты будешь, когда станешь мужчиной, а я буду седая?

Тота подобрал свои ножки с очаровательными ямочками. Он мог ползать, но не желал тратить весну своей юности на бесполезные разговоры. Ему хотелось ущипнуть Миан Митту за хвост.

---

<sup>3</sup> Сулейман и Афлатун – арабская форма имён царя Соломона и Платона.

Когда он подрос и удостоился чести надеть серебряный пояс, – который, вместе с волшебным заклинанием, выгравированным на серебре и висевшим у него на шее, составлял большую часть его одеяния, – он, спотыкаясь, отправился в опасное путешествие по саду к Пир Хану и предложил ему все свои драгоценности взамен езды на лошади Хольдена, пока мать его матери болтала на веранде с бродячими торговцами. Пир Хан заплакал, поставил неопытные ноги на свою седую голову в знак преданности и принёс храброго искателя приключений в объятия его матери, клянясь, что Тота будет вождём людей раньше, чем у него вырастет борода.

В один жаркий вечер он сидел на крыше между отцом и матерью и смотрел на бесконечную войну между воздушными змеями, которых пускали городские мальчишки. Он попросил, чтобы ему дали также змея и чтобы Пир Хан пускал его, потому что он боялся иметь дело с предметами, размеры которых были больше его самого. Когда Хольден назвал его франтом, он встал и медленно произнёс в защиту своей только что осознанной индивидуальности:

– Я не франт, а мужчина.

Этот протест чуть было не заставил Хольдена задохнуться от смеха, и он решил серьёзно подумать о будущем Тота. Ему не пришлось тревожиться об этом. Эта восхитительная жизнь была слишком хороша, чтобы продолжаться. Поэтому она была отнята, как многое отымается в Индии, – внезапно и без предупреждения. Маленький господин, как называл его Пир Хан, стал грустен и начал жаловаться на боли – он, никогда не имевший понятия о боли. Амира, обезумевшая от страха, не смыкала глаз у его постели всю ночь, а на рассвете второго дня жизнь его была отнята лихорадкой – обычной осенней лихорадкой. Казалось невозможным, чтобы он мог умереть, и сначала ни Амира, ни Хольден не верили, что на кровати лежит маленький труп. Потом Амира стала биться головой о стену и бросилась бы в водоём в саду, если бы Хольден силой не удержал её.

Милость была ниспослана Хольдену. Днём он приехал в свою канцелярию и нашёл необычайно большую корреспонденцию, требовавшую сосредоточенного внимания и большой работы. Впрочем, он не сознавал этой милости богов.

### III

Первое ощущение при ранении пулей кажется сильным щипком. Пострадавшее тело посылает свой протест душе только через десять или пятнадцать секунд. Хольден так же медленно осознал своё горе, как раньше счастье, и испытывал ту же властную необходимость скрывать всякое проявление его. Вначале он чувствовал только, что была какая-то утрата и что Амира нуждается в утешении, когда сидит, опустив голову на колени, вздрагивая всякий раз, как Миан Митту кричит с крыши: «Тота! Тота! Тота!» Впоследствии все в окружавшем его мире и в повседневной жизни словно поднялось на него, чтобы причинять ему боль. Ему казалось оскорблением, что любой из детей, стоявших вечером вокруг оркестра, жив и весел, тогда как его ребёнок лежит мёртвый. Ещё более бывало ему, когда кто-нибудь из них дотрагивался до него, а рассказы нежных отцов о последних подвигах их детей уязвляли его до глубины души. Он не мог рассказывать о своём горе. У него не было ни помощи, ни утешения, ни сочувствия; а в конце каждого тяжёлого дня Амира заставляла его проходить через тот ад делаемых себе упрёков, на который осуждены те, кто потерял ребёнка и кто верит, что, если бы было немного, хоть немного больше заботливости, он мог бы быть спасён.

– Может быть, – говорила Амира, – я не обращала достаточно внимания на него. Так ли это? Солнце было на крыше в тот день, когда он так долго играл один, а я – аи! – заплетала волосы; может быть, это солнце вызвало лихорадку. Если бы я уберегла его от солнца, он мог бы жить. Но, жизнь моя, скажи, что я невиновна! Ты знаешь, что я любила его, как мою жизнь. Скажи, что на мне нет вины или я умру... я умру.

– Нет вины – как перед Богом говорю – никакой. Так было предначертано, и что мы могли сделать, чтобы спасти его? Что было, то было! Брось это, возлюбленная.

– Для меня он был всем, моё сердце. Как могу я бросить эти мысли, когда моя рука каждую ночь говорит, что его нет тут. Аи! Аи! О, Тота, вернись ко мне, – вернись и будем по-прежнему все вместе!

– Тише, тише! Ради себя самой, а также ради меня, если любишь меня, – успокойся!

– Я вижу, что тебе все равно; да и как могло быть иначе? У белых людей каменные сердца и железные души. О, если бы я вышла замуж за человека из моего народа – хотя бы он бил меня – и никогда не ела чужого хлеба!

– Разве я чужой тебе, мать моего сына?

– А как же иначе, сахиб?.. О, прости меня, прости! Эта смерть свела меня с ума. Ты жизнь моего сердца, и свет моих очей, и дыхание моей жизни, и... а я отстранила тебя от себя, хотя это было только на одно мгновение. Если ты уйдёшь, у кого я буду искать помощи? Не сердись! Право, это говорило страдание, а не твоя рабыня.

– Я знаю, я знаю. Теперь нас двое вместо трех. Тем необходимее нам быть заодно.

По обыкновению, они сидели на крыше. Была жаркая ночь ранней весны; молния танцевала на горизонте под отрывистую музыку отдалённого грома. Амира угнездилась в объятиях Хольдена.

– Сухая земля ревёт о дожде, словно корова, а я... я боюсь. Не так было, когда мы считали звезды. Но ты любишь меня так же, как прежде, хотя то, что связывало нас, и взято от нас? Отвечай.

– Я люблю ещё больше потому, что новая связь возникла – связь печали, которую мы перенесли вместе. И ты знаешь это.

– Да, я знала, – прошептала Амира очень тихо. – Но приятно слышать, когда ты говоришь это, жизнь моя, ты, такой мужественный. Я больше не буду ребёнком, а женщиной и помощницей тебе. Послушай. Дай мне мою ситар, и я спою.

Она взяла лёгкую, украшенную серебром ситар и начала песнь о великом герое радже Расалу. Рука остановилась на струнах, песня прервалась и на низкой ноте перешла в жалкий детский стишок: «А в джунглях спеют сливы – по пенни целый фунт. Лишь пенни целый фунт, баба!..»

Потом пошли слезы и жалобное возмущение против судьбы, пока Амира не уснула. Во сне она слегка стонала и вытянула правую руку, как будто охраняя то, чего не было около неё. После этой ночи жизнь стала несколько легче для Хольдена. Вечно ощущаемая боль потери заставляла его стремиться к работе, которая оплачивала ему тем, что занимала его ум по девяти-десяти часов в день. Амира сидела в доме одна и грустила, но стала счастливее, по обычаю женщин, когда поняла, что Хольден несколько успокоился! Они снова испытали счастье, но на этот раз с оглядкой.

– Тота умер, потому что мы его слишком любили. Тут была зависть Бога к нам, – говорила Амира. – Я повесила большой чёрный кувшин перед нашим окном от дурного глаза, и нам не следует выражать восторга, но тихо идти под звёздами, чтобы Бог не нашёл нас.

С тех пор они все время говорили: «Это ничего, это ничего», надеясь, что все силы неба слышат эти слова.

Силы были заняты другими вопросами. Они дали тридцати миллионам людей четыре года изобилия, люди хорошо питались; урожаи были обеспечены, и рождаемость возрастала из года в год; из округов доносили, что на квадратную милю отягощённой земли приходится от девятисот до двух тысяч земледельческого населения; а член парламента от Нижнего Тутинга, разгуливавший по Индии в цилиндре и во фраке, распространялся о благодеяниях британского управления и предлагал, как единственно необходимое, введение правильной избирательной системы и раздачу привилегий. Его многострадальные хозяева улыбались и приветствовали

его, а когда он остановился перед деревом дхак и в красиво подобранных выражениях высказал, что его красные, как кровь, цветы, расцветшие не вовремя, служат признаком грядущих благ, они улыбались более, чем когда-либо.

Однажды Хольден услышал в клубе беспечный рассказ депутата-комиссионера из Кот-Кумхарсена, от которого кровь похолодела в его жилах.

– Больше он никому не будет надоедать. Никогда не видал такого удивлённого человека. Клянусь Юпитером, я думал, что он сделает запрос в палате общин по этому поводу. Пассажира на его пароходе, обедавшего рядом с ним, схватила холера, и он умер через восемнадцать часов. Нечего смеяться, братцы. Член от Нижнего Тутинга страшно рассердился на это, но ещё более испугался. Я думаю, что он освободит Индию от своей просвещённой особы.

– Много бы я дал, чтобы его выгнать. Это научило бы подобных ему личностей заниматься своими делами. Но как насчёт холеры? Ещё слишком рано для этого, – сказал смотритель солёного источника, не приносившего доходов.

– Не знаю, – задумчиво сказал депутат. – У нас появилась саранча. По всему северу распространилась спорадическая холера – по крайней мере, мы, из приличия, называем её спорадической. Весенний урожай плох в пяти округах, и никто, по-видимому, не знает, где дожди. Скоро март. Я не хочу никого пугать, но мне кажется, что в этом году природа будет сводить свои счёты большим красным карандашом.

– Как раз тогда, когда я хотел взять отпуск, – раздался чей-то голос издали.

– Отпусков в этом году будет не много, но, вероятно, много повышений. Я приехал, чтобы убедить правительство внести мой излюбленный канал в список необходимых работ в связи с голодом. Нет такого дурного ветра, который не приносит бы добра. Я наконец добьюсь, чтобы этот канал был окончен.

– Значит, старая программа, – сказал Хольден. – Голод, лихорадка и холера.

– О, нет. Только недород на местах и необыкновенные вспышки обычных сезонных болезней. Вы найдёте все это в рапортах, если доживёте до будущего года. Вы счастливый мальчик. У вас нет жены, которую нужно отсылать подальше от беды. Горные местности, должно быть, будут наполнены женщинами в этом году.

– Мне кажется, вы склонны преувеличивать значение разговоров на базарах, – сказал молодой чиновник из секретариата. – Я заметил...

– Согласен, что заметили, – сказал депутат-комиссионер, – но многое ещё вам придётся замечать, сыночек. А пока я желаю заметить вам. – И он отвёл молодого человека в сторону, чтобы обсудить вопрос о постройке канала, так дорогого его сердцу.

Хольден пошёл в своё бунгало и начал сознавать, что он не один на свете и что боится за другого – самый душещепательный из всех страхов, известных человеку.

Через два месяца, как предсказал депутат, природа стала сводить свои счёты красным карандашом. По пятам весенней жатвы поднялся крик о хлебе, и правительство, постановившее, что ни один человек не должен умереть от голода, прислало пшеницу. Потом со всех четырех сторон света явилась холера. Она разразилась над собранием полумиллиона пилигримов у священного алтаря. Многие умерли у ног своего Бога; другие убежали и разбежались по всей стране, разнося заразу. Она поразила обнесённый стенами город и убивала по двести человек в день. Народ томился в поездах, висел на подножках, сидел, скорчившись, на крышах вагонов, а холера следовала за ними, так что на каждой станции вытаскивали мёртвых и умирающих. Последние умирали на дорогах, и лошади англичан пугливо бросались в сторону при виде трупов, лежавших в траве. Дожди не приходили; земля обратилась в железо, чтобы человек не мог укрыться в ней от смерти. Англичане отослали жён в горы и продолжали свою работу, являясь, когда им приказывали, заполнять пробелы в боевой линии. Хольден, в страхе потерять своё самое драгоценное сокровище на земле, употреблял все усилия, чтобы уговорить Америку уехать с матерью в Гималаи.

– Зачем я поеду? – сказала она однажды вечером, сидя на крыше.

– Здесь болезнь и люди умирают: все мем-лог уехали.

– Все?

– Все. Осталась, может быть, какая-нибудь взбалмошная старуха, которая раздражает сердце своего мужа, рискуя подвергнуться смерти.

– Нет; та, которая остаётся, моя сестра, и ты не должен бранить её, потому что я также буду взбалмошной. Я рада, что все бойкие мем-лог уехали.

– С кем я говорю – с женщиной или с ребёнком? Поезжай в горы, и я устрою так, что ты поедешь, как королевская дочь. Подумай, дитя. В красной лакированной повозке, запряжённой волами, с медными павлинами на дышле и красными суконными занавесками. Я пошлю двух ординарцев, чтобы охранять тебя и...

– Замолчи! Вот ты так говоришь, как ребёнок. Зачем мне эти игрушки? Он гладил бы волов и играл бы с попонами. Ради него, может быть, – ты все-таки сделал из меня англичанку, – я поехала бы. А теперь не хочу. Пусть бегут мем-лог.

– Их отсылают мужья, возлюбленная.

– Очень хорошо. С каких пор ты стал моим мужем и можешь приказывать мне? Я только родила тебе сына. Ты только желание всей моей души. Как могу я уехать, когда знаю, что, если бы с тобой случилось несчастье, маленькое, как самый мой маленький ноготь на пальце – разве он не мал? – я узнала бы об этом, хотя была бы в раю. А здесь, этой весной, ты можешь умереть, и когда будешь умирать, призовут ходить за тобой белую женщину, и она отнимет у меня последние минуты твоей любви.

– Но любовь не рождается в одно мгновение, да ещё на смертном одре!

– Что ты знаешь о любви, каменное сердце? По крайней мере, она примет твою последнюю благодарность, а, клянусь Богом и Пророком и Биби Мириам, матерью твоего Пророка, я этого не вынесу. Господин мой и любовь моя, пусть больше не будет глупого разговора об отъезде. Где ты, там я. Довольно.

Она обвила его шею одной рукой, а другой закрыла ему рот.

Редко бывают такие минуты полного счастья, как те, которые урываются от дамоклова меча судьбы. Они сидели и смеялись, называя друг друга всеми ласковыми именами так, что могли вызвать гнев богов. Город скрывал муки в своих стенах. Огни зажжённой серы сверкали на улицах; раковины в индусских храмах кричали громко потому, что боги были невнимательны в эти дни. В большом магометанском храме шла служба, а с минаретов доносились почти непрерывные призывы к молитве. Они слышали жалобный плач в домах, где были покойники; однажды до них донёсся крик матери, потерявшей ребёнка и призывавшей его вернуться. В серой дымке рассвета они увидели, что из городских ворот выносят покойников; каждые носилки были окружены небольшой кучкой провожающих. Тут они поцеловались и вздрогнули.

Природа сводила свои счёты большим красным карандашом. Страна была очень больна и нуждалась хотя бы в небольшой передышке, чтобы поток обесцененной жизни мог снова оросить её. Дети несозревших отцов и недоразвившихся матерей не оказывали никакого сопротивления. Они были пришиблены и сидели смиренно в ожидании, пока меч снова будет вложен в ножны, в ноябре, если будет угодно судьбе. Среди англичан также оказались пробелы, но они были заполнены. Работа по надзору над помощью голодающим, над холерными бараками, раздачей лекарств и теми немногочисленными санитарными мерами, которые можно было принять, шла, как было предписано.

Хольдену велено было быть наготове, чтобы отправиться заместителем первого человека, который свалится с ног. В продолжение двенадцати часов ежедневно он не мог видеться с Амирой, а она могла умереть в три. Он размышлял о том, как тяжело ему будет не видеть её три месяца и ещё тяжелее, если она умрёт не на глазах у него. Он был вполне уверен, что её

смерть неминуема, так уверен, что, когда поднял голову от телеграммы и увидел стоявшего в дверях запыхавшегося Пир Хана, он громко расхохотался.

– Ну?.. – спросил он.

– Когда ночью слышен крик и замирает дыхание в горле, у кого есть чары, чтобы вылечить? Иди скорее, небеснорожденный! Это чёрная холера.

Хольден галопом поскакал к своему дому. Небо было покрыто тяжёлыми тучами, потому что давно задержавшиеся дожди приблизились, и жара была удушливая. Мать Амиры встретила его во дворе, жалобно всхлипывая.

– Она умирает. Она готовится к смерти. Она уже почти мертва. Что я буду делать, сахиб?

Амира лежала в комнате, в которой родила Тота. Она не подала никакого признака жизни, когда вошёл Хольден, потому что человеческая душа чрезвычайно одинока и, когда готовится уйти, то прячется в туманную пограничную страну, куда не могут проникнуть живые. Чёрная холера делает своё дело спокойно и без объяснений. Амира выталкивалась из жизни, как будто сам Ангел Смерти наложил на неё свою руку. Прерывистое дыхание указывало на страх или на боль, но ни глаза, ни рот не отвечали на поцелуи Хольдена. Ничего нельзя было ни сделать, ни сказать. Хольден мог только ждать и страдать. Первые капли дождя начали падать на крышу, и из истомлённого жаждой города доносились радостные крики.

Душа возвратилась, и губы задвигались. Хольден нагнулся и прислушался.

– Не оставляй себе ничего моего, – сказала Амира. – Не бери волос с моей головы. Она заставит тебя сжечь их потом. Я почувствую этот огонь. Ниже! Нагнись ниже! Помни только, что я была твоя и родила тебе сына. Даже если ты завтра же женишься на белой женщине, удовольствие принять в свои объятия первенца навсегда отнято у тебя. Вспомни меня, когда у тебя родится сын – тот, который будет носить твоё имя перед всеми. Его несчастья пусть падут на мою голову. Я исповедую... Я исповедую, – губы говорили слова над самым его ухом, – что нет Бога, кроме... тебя, возлюбленный!

Потом она умерла. Хольден сидел тихо; всякая способность думать была утрачена им, пока он не услышал, как мать Амиры приподняла занавеску.

– Она умерла, сахиб?

– Умерла.

– Тогда я стану оплакивать её, а потом сделаю опись мебелировки этого дома. Потому что он будет моим. Сахиб ведь не думает отнять его? Он такой маленький, такой маленький, а я старуха. Мне хотелось бы лежать на мягком.

– Ради Бога, помолчи немного. Уйди и оплакивай её там, где я не могу слышать.

– Сахиб, её похоронят через четыре часа.

– Я знаю обычай. Я уйду прежде, чем её унесут. Это дело в твоих руках. Присмотри за тем, чтобы кровать, на которой... на которой она лежит...

– Ага! Эта прекрасная лакированная кровать. Я давно желала...

– Чтобы эта кровать осталась здесь нетронутой, в моем распоряжении. Все остальное в доме – твоё. Найми повозку, возьми все, уезжай отсюда, и чтобы до восхода солнца ничего не осталось в этом доме кроме того, что я приказал тебе не трогать.

– Я старуха. Мне хотелось бы остаться, по крайней мере, на дни траура, и дожди только что начались. Куда я пойду?

– Что мне за дело? Я приказываю, чтобы ты ушла. Обстановка дома стоит тысячу рупий, а вечером мой ординарец принесёт тебе сто рупий.

– Это очень мало. Подумай, что будет стоить наём повозки.

– Ничего не будет, если ты не уйдёшь отсюда, и как можно скорее. О, женщина, убирайся и оставь меня с моей покойницей.



Мать, шаркая ногами, спустилась по лестнице и в заботах о том, чтобы собрать имущество, забыла оплакивать дочь. Хольден остался у постели Амиры, а дождь барабанил по крыше. Благодаря этому шуму, он не мог думать связно, хотя и старался привести в порядок свои мысли. Потом четыре укутанных в саваны призрака проскользнули, все мокрые, в комнату и устались на него сквозь покрывала. То пришли обмывать покойницу. Хольден вышел из комнаты и направился к своей лошади. Он приехал в мёртвую, удушливую тишину, по пыли, доходившей до лодыжки. Теперь нашёл вместо двора пруд, полный лягушек, по которому хлестал дождь; ручей жёлтой воды бежал под воротами, а бушующий ветер ударял каплями дождя, словно тараном, о глиняные стены. Пир Хан дрожал в своей маленькой хижине у ворот, а лошадь беспокойно топталась в воде.

– Мне передали приказание сахиба, – сказал Пир Хан. – Это хорошо. Теперь этот дом опустеет. Я также уйду, потому что моё лицо мартышки было бы напоминанием прошлого. Что касается кровати, то я принесу её завтра утром к тебе в тот дом; но помни, сахиб, что это будет для тебя нож, поворачиваемый в свежей ране. Я отправляюсь в паломничество и не возьму денег. Я растолстел под покровительством моего высокого господина. В последний раз я держу ему стремя.

Он дотронулся обеими руками до ноги Хольдена, и лошадь выскочила на дорогу, где скрипучие бамбуковые стволы хлестали по небосклону, а лягушки смеялись. Дождь бил прямо в лицо Хольдену так, что он ничего не видел. Он закрыл глаза руками и пробормотал:

– О, скотина! Настоящая скотина!

Весть об его горе уже дошла до бунгало. Он прочёл это в глазах своего дворецкого, Ахмед Хана, когда тот принёс ему еду и в первый и в последний раз в своей жизни положил руку на плечо своего господина, говоря:

– Кушай, сахиб, кушай. Мясо – хорошее средство от печали. Я также испытал это. К тому же тени приходят и уходят; тени приходят и уходят. Вот яйца с соусом из сои.

Хольден не мог ни есть, ни спать. Небеса послали в ночь дождь, покрывший землю на восемь дюймов и начисто омывший её. Воды опрокинули стены, разрушили дороги и размыли неглубокие могилы магометанского кладбища. Дождь шёл весь следующий день, и Хольден сидел дома, погруженный в печаль. Наутро третьего дня он получил телеграмму, в которой говорилось: «Риккетс, Миндони. Умирает. Хольден заменяет. Немедленно». Тогда он захотел посмотреть перед отъездом на дом, в котором был хозяином и господином. Погода несколько прояснилась; от сырой земли шёл пар.

Он увидел, что дожди опрокинули глиняные столбы ворот, а тяжёлая деревянная калитка, охранявшая ту, которая была его жизнью, лениво висела на одной петле. На дворе выросла трава в три дюйма; хижина Пир Хана была пуста, и мокрая солома осела между балками. Серая белка завладела верандой, как будто дом стоял необитаемым в продолжение тридцати лет, а не трех дней. Мать Амиры увезла все, за исключением испорченных циновок. «Тик-так» маленьких скорпионов, быстро двигавшихся по полу, был единственным звуком в доме. Комнаты Амиры и та, в которой жил Тота, были пропитаны сыростью, а узкая лестница, ведущая на крышу, вся покрыта грязью. Хольден взглянул на все это и вышел из дома; на улице он встретил Дурга Дасса, хозяина дома. Толстый, любезный, одетый в белую кисею, он ехал в рессорном кабриолете.

– Я слышал, что вы больше не нуждаетесь в этом доме, сахиб?

– Что вы думаете сделать с ним?

– Может быть, сдать его снова.

– Тогда я оставляю его за собою на время моего отсутствия.

Дурга Дасс помолчал несколько времени.

– Не надо так принимать это к сердцу, сахиб, – сказал он. – Когда я был молодым человеком, я также... А теперь я член муниципалитета. Когда птицы улетают, зачем оставлять их

гнездо. Я велю срыть его – за лес можно будет все-таки получить кое-что. Дом будет срыт, и муниципалитет проведёт тут – как желал – дорогу к городской стене так, что ни один человек не будет в состоянии сказать, где стоял этот дом.